

# Борис Акунин

## Дорога в Китеж

### Пролог

#### Per anus ad astra

### Гвардейский развод

– ...Бог свидетель! Вынужденные вступить в войну с Турцией, мы не искали новых завоеваний! Мы были движимы единственно состраданием к православным христианам, чьи права каждодневно попирались Оттоманскою Портой! Однако ж тайное противоборство европейских недоброжелателей препятствовало мирному разрешению нашего спора с Константинополем! Ныне же, сбросив всякую личину, правительство королевы Виктории прямо заявляет, что истинная цель его действий – обессилить Россию и низвести ее с той степени могущества, на которую она возведена Всевышнею Десницей! Лондон объявляет нам войну!

Шеренги гвардейского флотского экипажа, перед которыми расхаживал император, застыли неподвижной темно-зеленой массой, лишь черные султаны трепетали над киверами, да колыхались складки георгиевского знамени. Усатые, багровые

от холода физиономии были каменные, шевелились только выпученные глаза, провожавшие рюмочно-молодцеватую фигуру самодержца. Его привыкший командовать голос был гулок и звучен, но с Невы дул злой мартовский ветер, рвал торжественную речь на куски, относил их вбок. Даже до переднего ряда долетали только отдельные слова. Значения это не имело, нижние чины звучных фраз все равно бы не поняли. Им и незачем. После командиры что надо растолкуют.

Перед строем тянулись в струнку сын Константин в вице-адмиральском мундире и его худосочный адъютант. Четверть часа назад, перед самым разводом, отец известил великого князя о британском вероломстве, и тот сохранял невозмутимость, подобающую начальнику Морского министерства, но у лейтенантика при слове «война» слегка дернулась голова.

Император гордился своей памятью на лица и имена. Раз кого-то увидев, запоминал навсегда. Вспомнил и фамилию адъютанта – Воронцов. Не из тех, больших Воронцовых, а из другой, захудалой ветви. Сын покойного сенатора Николая Сергеевича, нет Семеновича, да-да Николая Семеновича Воронцова, слуги исправного и честного.

Но офицерик, как и матросы, тоже ровно ничего не значил. Речь на ледяном ветру

предназначалась не для своих. Справа – как раз там, куда отлетали чеканные фразы, – куталась в шинели и плащи группа иностранных посланников. Их экстренно вызвали к Адмиралтейству на развод Гвардейского экипажа в высочайшем присутствии. Не явились только двое – британец Сеймур и француз Кагельбажак. Первый наверняка уже готовится к отплытию. Со вторым тоже ясно. Париж – отрезанный ломоть. Сегодня – доподлинно известно – прощелыга Луи-Наполеон, ничтожный племянник великого дяди, тоже объявит войну России. Первостепенную важность сейчас имели послы остальных великих держав, Австрии и Пруссии. Пускай отпишут в Вену и Берлин, что Санкт-Петербургский Лев несколько не уstraшен, а лишь разъярен.

Выпуклые глаза императора обладали замечательным свойством: видели периферию, почти не скашиваясь. Государю нравилось думать, что никакая мелочь не ускользает от их зоркого прицела. И австриец, и пруссак слушали железную речь очень внимательно, строчили карандашами в книжечках. Если что-то и упустят, нестрашно. Нессельроде нынче же разошлет в посольства отпечатанный текст.

Роковое донесение из Лондона было доставлено накануне вечером. От нервов император всю ночь не смыкал глаз. То молился перед иконой

святого покровителя Николая Мирликийского, то вскакивал с колен и принимался вышагивать по анфиладе, прикидывая, в каких словах составить манифест. И как повнушительней его объявить. В Исаакиевском соборе? Нет, это будет выглядеть так, будто русский царь испугался и уповает только на Божье спасение. На Государственном Совете? Но что метать бисер перед своими? На большом военном параде? Картина была бы превосходная, но по смыслу глуповато – на огромную Дворцовую площадь не раскричишься, да и весь гвардейский корпус к утру не собрать, а с одними столичными полками выйдет маловнушительно. И главное – какая от сей демонстрации польза?

Наконец придумалось – и полезное, и красивое. В замкнутом с трех сторон дворе Адмиралтейства, где раньше были доки, а ныне компактный плац, устроить развод Гвардейского флотского экипажа. Матросы там – молодец к молодцу. Произнести короткую, энергическую речь в присутствии дипломатического корпуса.

Британия гордится своей морской мощью? Их газеты пишут, что Ахиллесова пята «Жандарма Европы» – слабый флот? Так вот вам туча витязей прекрасных чредой из вод выходит ясных, и с ними дядька их морской. А сзади, на широкой воде, поставить новейший пароходофрегат «Гремящий», давеча очень кстати зашедший в Неву.

Вообразил сцену: бравый строй, дым из трубы боевого корабля, массивный корпус Адмиралтейства с золотым шпилем, а в центре – русский самодержец, прямой, уверенный, несокрушимый.

Так всё и вышло. Матросам в центре шеренги казалось, что черный дым поднимается плюмажем прямо из царской двухугольной шляпы.

Концовку речи император прокричал с особой зычностью, глядя поверх киверов и простирая к небу руку в белой перчатке:

– Как мыслит царь русский, так мыслит, так дышит с ним вся русская земля! За веру и христианство подвигаемся! С нами Бог, никто же на ны!

«Ны-ны-ны!» – подхватило эхо, отброшенное желтыми адмиралтейскими стенами.

Устремить очи к облакам у царя не получилось, для этого пришлось бы слишком задрать голову. Смотрел он на окна верхнего этажа морского ведомства. Так и замер грозной статуей с воздетой десницей – во имя торжественности.

Мучительно заледенело левое ухо, в которое дул ветер, но потереть было нельзя. Железный владыка железной державы не мог проявлять никакой слабости. А вот некоторую свободу позы придать было уместно – на фоне застывшего строя, покорного воле самодержавного властелина.

Да и странно было чересчур долго воздевать десницу.

Вспомнилась строка любимого стихотворения: «Скрестивши могучие руки, главу опустивши на грудь». Голову император, конечно, опускать не стал, а руки на груди скрестил.

Вдруг подумалось неуместное. Автор прекрасного стихотворения был скверный мальчишка, глупо сгубивший свою жизнь, а уловил неким таинственным даром самое главное в юдоли самодержавного служения: вечное, неизбывное одиночество Высшей Власти.

Царь стоял в величественной позе, чувствуя на себе тысячи взглядов. На него истово тарасились матросы, пытливо смотрели иностранные дипломаты, в окнах теснились адмиралтейские: бледные пятна лиц, тусклый блеск галунных воротников и эполетов.

«Господи милосердный, дай сил выдержать эту ношу. Укрепи мои слабые плечи, не дай им подломиться, – думал царь. – Ведь на мне одном всё держится. Умру я, что с вами, дураками, будет? Боже, не дай пропасть моей России...».

В одном из окон верхнего этажа, примерно там, куда был устремлен подернутый слезой взор императора, торчали две головы, в отличие от всех прочих не обрамленные понизу золотым

позументом. Оба зрителя были статские.

– Вот бы Упырь простудился и сдох, – сказал толстощекий молодой человек, готовясь откусить от сэндвича с колбасой. – То-то Россия-матушка облегчилась бы.

– Не надейся, не простудится, – ответил второй – миниатюрный брюнет с подвитыми височками, придававшими ему хлыщеватый вид. – Коко рассказывал, что у его папаши в холодный день под мундиром всегда тонкая фуфайка из мериносовой шерсти и ботфорты на два размера больше нужного – для теплых чулков. Матросы – те к черту перепростужаются, они выстроены на плацу с раннего утра, а Упырю ничего не сделается.

Собеседники являли собой изрядный контраст. Один большущий, дородный, очкастый, с плохо расчесанной шевелюрой, свисающей чуть не до плеч, в потрепанном пиджаке, перед которого был засыпан табаком и хлебными крошками. Второй аккуратный, по-конфетному красивый, в английском кургузом сюртучке, сиреневом шелковом галстуке и белейших воротничках. Общего у приятелей (а это были закадычнейшие друзья) была только сардоническая улыбка, являвшаяся для обоих чем-то вроде постоянной гримасы. И толстые губы очкастого, и тонкие губы франта почти всегда пребывали в раздвинутом состоянии.

Первого звали Михаилом Гавриловичем Питоврановым, второго – Виктором Аполлоновичем Ворониным. Им было по двадцать четыре года, они служили в журнале «Морской вестник», редакция которого располагалась на адмиралтейском чердаке.

Ежемесячное издание было замыслено как сугубо ведомственный орган для публикации статей по военно-морскому делу, циркуляров и пояснений к уставам. Таким «Вестник» и был до прошлого года, когда государь назначил управлять министерством своего второго сына Константина Николаевича, чуть не с рождения определенного шефствовать над флотом империи.

Великому князю шел двадцать шестой год. Он был переполнен энергией и бурлил передовыми идеями, а главное – горел прекрасным желанием сделать окружающую жизнь разумнее и лучше. Августейший отец любовался своим энтузиастическим сыном, и хоть передовых идей не одобрял, но не мешал великому князю куролесить, считая, что в молодости оно позволительно, а потом поумнеет, остепенится. За важнейшими направлениями, конечно, приглядывали убеленные сединами и осиянные плешами адмиралы, но в делах малозначительных, вроде содержания морского журнала, Константину Николаевичу предоставлялась полная свобода. Высочайшим



распоряжением «Вестник» даже избавили от цензуры, обязательной для всех печатных изданий империи.

Молодой управляющий министерством собрал под свое начало, и в особенности в редакцию, соратников по собственному вкусу – зеленых годами, но дерзких умом и острых языком. К числу таких относились и Воронин с Питоврановым.

Когда в огромном здании Адмиралтейства утром стало известно о скором прибытии государя и еще не было понятно, по какому случаю, начальник редакции велел всем сотрудникам-офицерам привести мундиры в безукоризненный порядок, а статским спрятаться в самые труднодоступные комнаты да не высовывать носа. Его величество не любит, когда в военном ведомстве болтаются «пиджачники». Поэтому Михаил Гаврилович (для друзей «Мишель») с Виктором Аполлоновичем (попросту «Викой») и заняли позицию на своем возвышенном наблюдательном пункте.

Сначала они увидели, как во двор длинной, мохнатой от штыков гусеницей вползает колонна Гвардейского экипажа, срочно вызванная из казарм на Екатерингофском проспекте; как бегают ротные и взводные, выстраивая идеальные шеренги; потом – как в ожидании императора стынут на

ледяном ветру бесшинельные, в одних мундирах матросы. Наконец въехали экипажи, спешились всадники, и началась церемония, о смысле которой можно было только догадываться. Впрочем, по мнению приятелей, не следовало искать смысла в поступках Упыря. Так они называли между собой царя – за его прославленный взгляд василиска и за вампирскую хватку, с которой царь впился в горло бедной России.

Наконец действие на плацу завершилось. Статная фигура государя, сверху очень похожая на игрушечного солдата, замерла с приложенной к шляпе рукой. Ударили барабаны, запищали флейты, Гвардейский экипаж мерно застучал двумя тысячами окованных каблуков, проходя церемониальным маршем мимо императора.

– Кто точно простудится, так это наш Эженчик. Опять будет хлюпать носом, – сказал Вика про тоненького адъютанта, вытянувшегося позади царя и великого князя. Граф Евгений Николаевич Воронцов был третьим участником их дружеской компании.

– Уф, вроде проваливает восвояси. В министерство не идет, – с облегчением молвил Мишель, видя, что к государю движется карета. – Отбой. Возвращаемся к мирной жизни. У меня статья недоправлена.

О том, что мирной жизни настал конец, друзья узнали четверть часа спустя от того самого Эженчика, о здоровье которого тревожился Вика Воронин. Лейтенант вошел в комнату и с порога объявил:

– Бросьте вы свои бумажки! Не слышали еще? Война!

– Здравсьте, ваше сиятельство, проснулись, – флегматично отозвался Питовранов, не отрываясь от рукописи. – Полгода уже воюем.

– Да не с Турцией! С Англией! А Коко мне шепнул, что сегодня нам объявит войну еще и Франция! – воскликнул Воронцов.

Это был стройный блондин с очень белой кожей, что у светловолосых встречается редко. Темны были только усики, совершенно не шедшие к тонким, нервным чертам, однако в казарменной империи усы для военного человека являлись обязательной принадлежностью формы.

Воронин с Питоврановым вскочили. Первый присвистнул, второй пробасил: «Птички-синички...». Как людям статским усы им позволялись только в сочетании с бородой, но у Мишеля она росла плохо, а Вика слишком ценил свою красоту, чтобы прятать ее под волосяной растительностью.

На миг, всего только на миг с обеих бритых лиц пропала извечная насмешливая улыбка. Они стали непривычно серьезны.

Однако Воронин почти сразу же хищно оскалился, а Питовранов азартно потер мясистую щеку.

– Хм. Пожалуй вот оно, чего ждали, – сказал он. – Всю Европу нашей теляте не забодати.

– Именно, – кивнул Воронин. – Тут-то Упырь себе шею и свернет. И тогда наконец сонная дурища Россия пробудится!

Лейтенант поморщился. Он не любил словесной развязности, когда речь шла об отечестве.

– Стыдитесь, господа. Россию ждет тяжелое испытание, прольется много крови и слез, а вы радуетесь. Вот уж воистину говорящие фамилии. Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит: «Ворон, где б нам пообедать?».

– Ты тоже Воронцов, – махнул рукой Мишель. – А ворон ворону глаз не выклюет. Брось, Женька. Ты же сам рад. Сколько о том говорено? Кровь прольется, это да. И плачу будет много. Но баба рожает – тоже орет, кровь льет. Без плача и крови новой жизни не появится.

Они заговорили наперебой, но это не мешало им слышать друг друга. Да и, в самом деле, всё было уже сто раз проговорено.

– Война, конечно, будет проиграна, – говорил Вика Воронин. – У них пароходы, а у нас деревяшки под тряпками. У них винтовки, а у нас бородинские ружья...

– У них заводы, железные дороги, электрический телеграф, наконец консервы – солдат кормить, – подхватывал Питовранов.

– Ужасно, ужасно, – вздыхал граф Женька. – И ведь некого винить, мы сами во всем виноваты...

– Он виноват, – разрубил ладонью воздух Вика, кивнув в сторону плаца, который однако уже опустел. – Чертов пиявец, сосущий из страны живые соки! Одно хорошо. Упырь не перенесет военного поражения. Околеет от позора. И тогда надо будет поднимать Россию из обломков. Чинить государство, отстраивать заново! Кто будет это делать?

– Да уж не те ничтожества, которых он вокруг себя наплодил, – покачал головой Воронцов. – Не Клейнмихель с Адлербергом, не Чернышев. Цесаревич Александр тоже ни рыба, ни мясо. Ему эта задача не под силу.

– Зато есть наш Кокоша, – подмигнул Вика. – А у Кокоши есть мы. Да, мы молоды, не в чинах, но у нас есть головы, и эти головы умеют думать. Мы придумаем новую Россию, а потом мы же ее и построим!

Остальные согласно кивнули. Но Мишель

засмутился пафоса.

– Сразу слышно карьериста, – толкнул он Воронина в плечо. – Метишь в превосходительства?

– Меньше высокопревосходительства прошу не предлагать, – в тон ответил Вика.

Воронцову, однако, шутить в такую минуту не хотелось.

– Есть еще Герцен в Лондоне, светлая голова.

– Герцен – частное лицо. У нас в России частные лица никогда ничего сделать не смогут, будь они хоть семи пядей во лбу, – убежденно сказал Вика. – Лишь тот, кто является частью государственной машины, способен привести ее в движение. Благодаря тому, что ты перетащил нас сюда, в «Морской вестник», мы оказались в совершенно исключительном положении. Когда Упырь сдохнет, наш дорогой Коко станет самой важной персоной в империи. Он напорист и сангвиничен, он быстро подчинит флегматичного Александра своему влиянию. Тут-то наш «Перанус» себя и покажет – как при Петре Великом показал себя Всешутейший Собор.

– Кстати сказать, як вам не просто с известием о войне, – спохватился адъютант. – Его высочество сказал, что как только отдаст необходимые распоряжения по министерству, придет к нам в бильярдную. Будет экстренная встреча клуба «Перанус».

Бильярдная была самым просторным помещением редакции. Там в самом деле находился стол зеленого сукна. Вокруг него, под стук костяных шаров, не только обсуждалось содержание очередного номера, но и велись бесстрашные разговоры, за которые, будь они подслушаны, можно было угодить на каторгу. Однако агентам Третьего отделения в морское министерство ходу не было, а в ближнем окружении великого князя шпионов не водилось. Да и кто стал бы доносить царю на любимого сына?

Клуб «Перанус», упомянутый Воронцовым, собственно, никаким клубом не являлся. Это был пестрый кружок новых людей, собранных Константином в министерстве за последний год. Самому старому из них, финансовому гению Рейтерну, придумавшему пенсионную кассу для отставных моряков, было 33 года, большинство же, подобно Воронину с Питоврановым, не достигли и двадцатипятилетия.

Название и девиз для кружка, впрочем, изобрели именно эти двое. Дней десять назад, когда обычный разговор о том, что в России всё ужасно, перешел в столь же привычный спор о том, как сделать Россию прекрасной, Вика показал всем рисунок: нечто, напоминающее перевернутую греческую букву «омега», и наверху звездочки.

– Вот герб и девиз нашего тайного клуба, –

сказал он. – Идея Мишеля, исполнение мое. Он рисовать не умеет, у него медвежьи лапы.

– Почему жопа, да еще с фейерверком? – заранее улыбаясь, спросил великий князь. – И что внизу за караули?

Воронин с достоинством отвечал:

– Жопа, ваше высочество, – это локация, в которой сегодня находится Россия. Наверху – звезды, до которых мы мечтаем ее возвысить. А внизу моим превосходным почерком, который вы изволили незаслуженно обидеть, начертано: «Per anus ad astra», «Через жопу к звездам». Предлагаю назвать наш клуб «Peranus».

Под общий хохот учреждение клуба было одобрено и немедленно sprysнуто шампанским. Вульгарное название не понравилось только Эжену, но граф оставил свое мнение при себе – из нежелания идти против друзей. У них, как у мушкетеров, было правило: один за всех, и все за одного.

Остальные так их и звали: «наши три мушкетера», а кто Атос, кто Портос и кто Арамис, было видно с первого взгляда.

## **Три мушкетера**

Пора, однако, представить героев повествования по-настоящему. Каждый из них



по-своему, а в общем и по-всякому, мог считаться человеком примечательным.

Самым старшим по возрасту, двадцатилетним, был Евгений Воронцов, он же Атос. Уникальная память не подвела всероссийского самодержца: великокняжеский адъютант принадлежал к скромному и небогатому ответвлению знаменитой российской фамилии. Хотя скромность и небогатство тут были, конечно, относительные, лишь по сравнению с дуайенами российской аристократии вроде елисаветинского канцлера Михаила Воронцова, александровского канцлера Александра Воронцова или нынешнего светлейшего князя Семена Михайловича Воронцова, кавказского наместника. Отец Евгения Николаевича был *только* сенатор и владел *всего лишь* тысячью душ.

По природной мягкости характера и возвышенности чувств Эжен не имел расположения к военной службе и поступил в юридический факультет. С успехом, в числе первых, окончил курс, но потрудиться на ниве правоведения молодому человеку не довелось. Тяжело захворал Воронцов-рёге, и предсмертным его желанием было *упрочить положение* единственного сына. Старый сенатор взялся за дело в соответствии с собственными представлениями о прочном положении. Евгений не имел сердца

противиться последней воле умирающего.

Сначала больной думал определить сына адъютантом к могущественному родственнику, уже поминавшемуся кавказскому наместнику. На юге, среди высоких гор и стремительных «дел» можно было сделать такую же высокую и стремительную карьеру. Но старику не хотелось провести последние дни жизни в одиночестве. Сенатор выхлопотал у государя назначение, как тогда казалось, менее перспективное, но зато ближнее, не требовавшее отъезда – адъютантом к великому князю Константину. В виде исключения и особой монаршей милости кандидата права, титулярного советника Е. Воронцова перевели тем же чином в военно-морское ведомство, лейтенантом флота, и новоявленный сухопутный моряк с тоской облачился в темно-зеленый мундир с аксельбантами.

Однако оказалось, что служба при августейшем адмирале нисколько не тягостна и уж во всяком случае не скучна. Скоро Воронцов искренне привязался к своему молодому начальнику, ценя в нем живость ума, открытость всему новому, веру в человечество и демократизм. Последнее, пожалуй, даже было главным. Не будучи горделив или спесив, Евгений Николаевич обладал щекотливым чувством собственного достоинства. Когда лучшие выпускники

университета по традиции поехали во дворец представляться государю, Воронцов сказался больным. Он опасался, что царь захочет сказать сенаторскому сыну какие-нибудь милостивые слова и, конечно же, по своему обыкновению обратится на «ты» – государь тыкал и престарелым сановникам. Константин же со всеми говорил по-европейски, на «вы», чем сразу и расположил к себе нового адъютанта.

Симпатия была взаимной. Честность, искренность и осязаемое благородство, сквозившее в каждом жесте и слове Воронцова, пришлись его высочеству по сердцу. Управляющий министерством прислушивался к суждениям и аттестациям скромного лейтенанта – и не имел случая о том пожалеть.

Разговор Евгения Николаевича был не особенно ярок, оригинальные мысли он высказывал редко, зато мнения графа всегда звучали основательно и с моральной точки зрения безукоризненно. Правильные черты лица Воронцова можно было бы назвать скучноватыми, если б не удивительная привлекательность взгляда. В нем чувствовалась готовность видеть во всяком человеке только хорошее. Когда же Евгений Николаевич убеждался, что имеет дело с дураком или мерзавцем, в серых глазах читалось не презрение, а горестное сожаление. Одним словом,

Воронцов был настоящий аристократ, в первоначальном значении этого термина, когда-то означавшего лучшую породу. Граф знал про впечатление, которое производит на окружающих, считал это своим недостатком и потому старался держаться со всеми очень просто, но, как выразился однажды грубый Питовранов, осел ушей не спрячет, какую гриву ни отрасли. В другой раз Мишель сказал: «На тебя, Женька, смотреть крахмально. Высморкался бы ты когда-нибудь, что ли».

Дружба между этим потомком варяжских конунгов и поповичем Питоврановым, да и худародным Ворониным была менее странной, чем это выглядело со стороны. Они сошлись еще в университете. Освоившись на новой службе, Воронцов позвал приятелей в морской журнал, и те охотно согласились, каждый из своих видов.

Воронин – потому что очень скучал в юридическом департаменте министерства государственных имуществ. Виктор Аполлонович был наслышан от Эжена о достоинствах великого князя и прозорливо угадывал, что Константина Николаевича ждет великое будущее.

Очень скоро Вика стал в редакции незаменим. Статей он не писал и не редактировал, но навел такой порядок в делах, что они задвигались будто сами собой – а это признак наивысшего